

ПАРИЖ!

Самолет поплыл вверх и вынырнул из серой водянистой мглы – в левый борт ударило солнце, вспыхнули спинки кресел и головы пассажиров. Самолет шел над белой тундрой облаков, под нею расстилалась Европа. «Лечу, Архипушка!» – хотелось горланить. Вылету все что-то препятствовало. Сначала в Смоленске: почему-то местная писательская организация отвечала на запросы из Москвы, что я не желаю никуда ехать и ни с какими иностранцами не хочу иметь вообще дел. Удивительным образом я стал свидетелем этого разговора: позвонил в Москву в литературную контору по иностранным делам, как-то так она называется и нечаянно вклинился в разговор московского аппаратчика с нашими функционерами.

Потом со мной беседовал представитель КГБ в Смоленске, чтобы решить, можно ли меня выпускать. Затем начались московские мытарства с оформлением визы. Визу мне оформили, но когда я уже в аэропорту направился к пограничникам, произошла заминка, явился какой-то товарищ в штатском, посмотрел мой паспорт. Оказалось, в визе не выставили дату. Билеты пришлось сдать и поворачивать оглобли. Это был мой первый вояж за границу, не считая перелет из Ашхабада в Кабул. Но там все было по-другому: никаких загранпаспортов, виз, вещмешки с сухпаем, каски, шинель, запасные портянки, сигареты, и все. А сейчас я летел свободным человеком в свободную страну, в город, о котором только безумный литератор мог не мечтать.

В Париже меня встречали Люся Катала и Жан Люк. На такси мы совершили небольшую экскурсию, и я увидел собор Парижской Богоматери, Триумфальную арку, Елисейские поля и что-то еще, много всего. Затем меня привезли в гостиницу «Шапля» и оставили в номере.

Я живу на первом этаже, окна выходят во дворик, – это крошечный колодец с зеленью и цветами – в ноябре, в конце ноября, – когда через него кто-то проходит, звук шагов резонирует, отдается от стенок, конечно, если идет женщина, то звук громче и резче.

Смотрю в окно на каменные вазоны и чувствую себя каким-то еще пленником. Ничего не знаю, денег нет. Что дальше? Здесь у меня вышла книга, но гонорар я еще не получил. Издательство пригласило меня на неделю. Все – за счет издательства: гостиница, ресторан. Только перелет мой. На перелет я взял взаймы. Потом отдам. Когда вернусь. Но сейчас у меня такое впечатление, что я никогда никуда не вернусь: я в Париже, и все. Париж бесконечен, как Ван Гог. Нет, лучше другой пример. Сислей, Моне, Манэ, Ренуар. Ван Гог не так долго жил здесь. И я еще увижу его картины в галерее на вокзале.

1 час ночи. Слегка пьян. В издательстве дали денег, и я сразу поперся в магазин сменить зимние старые сапоги на что-то более приличное и подходящее. В Москве снег. Здесь – цветы. Купил туфли, свитер, рубашки, брюки, куртку, носки. Продащица была черной француженкой, точнее шоколадной. Оглаживала меня мягкими руками, что-то мурлыкала, смеялась, показывая белые крупные зубы и язык. То ли смеялась над моей неуклюжестью, то ли что-то предлагала, капиталистка.

Но мне вполне комфортно здесь. Такое чувство, будто давно здесь жил, только кое-что подзабыл. Сапоги и старые тряпки я просто сунул в урну. Давно мечтал об этом. В каком-то фильме про север или в рассказе Джека Лондона это было: возвращается чувак в город и так вот меняет свою одежду.

Но, что это значит? Здесь – город, а Союз – деревня?

Ох, лучше с утра это обсудить. Сейчас ложусь спать, спать. Спать.

Снова ночь, половина первого. Австралийский писатель получил премию и устроил в вестибюле издательства «Альбен Мишель» фуршет. Там терлась парижская литературная братия. Разговоры, смех. Питье, закуски. Все стоят. Ходят от одной группки к другой. Ко мне подвели различных людей, девушек, женщин, мужчин, со всеми знакомили, ни одного имени я не запомнил. Французы вежливы, учтивы, льстивы. Я это понимаю. Но все-таки, заметив ревнивые взгляды австралийца, не мог не преисполниться самодовольства: ко мне шли охотнее. А один парень, раздувая щеки, восклицал, что не верит, что это я. Он только что всю ночь откуда-то ехал и всю ночь читал «Афганские рассказы». Тряс мою руку. Мы выпили с ним. Седовласая переводчица, Ольга Семеновна, маленькая плотная украинка была рада за соотечественника. Глаза ее блестели, на щеках играл молодой румянец. Она и говорила мне, что австралиец нервничает. Я ликовал, подписывал книги, пил виски, курил сигареты, хотя задолго до поездки крепко завязал.

Чувствую себя Ху... Хме... в общем, ясно, кем.

Да, кормлюсь я и вправду в месте, где сиживал Хемингуэй. Кафе «Ротонда». И не только он. Еще и прочие великие. Шагал, Ахматова, Сутин. Упоминание этого похоже на обязательную оговорку при географическом описании какой-нибудь нашей области: на ее территории размещаются Бельгия, Франция...

Ну, кормились и кормились. В конце концов и весь шар земной – место обитания Хлебникова, например, объявленного его Председателем. И многих других.

Ладно. Пошел в издательство по какому-то делу. Мимо идут с каменными лицами те, кто вчера чуть ли не канкан отплясывали вокруг меня с бокалами и сигаретами. Черт. Они идут как зомби, меня просто не замечают. Появилась мадам, восторгавшаяся вчера. Я остановил ее, пытаюсь узнать, где Ольга Семеновна. Она смотрела на меня, морща лоб. Тут как раз пришла Люся Катала. Тогда и мадам вспомнила – с помощью Люси – кто я такой. Ах, уи! Уи! Уи! То есть – «да» в переводе с ихнего. Ну, уи.

Уи.

Вечером завернул в кинотеатр и смотрел фильм про Ван Гога на французском языке. Да мне все и так было понятно. В кинотеатре курят. Я так и не решился.

Вообще все эти «бонжур», «вуаля», «мсье», «мадам», «мерси» – весь этот язык кажется театральным, книжным, киношным.

Утром во дворике поет птица – тоже по-французски.

После душа идешь в холл с живой зеленью, дальше столовая, темная индийка подает плетеную корзинку с булками, кувшинчик кофе, молока... Опять Хлебников: «Мне много ль надо...» Но как здорово его передразнил Заболоцкий: «Дай мне два кувшина сливок, / Дай сметаны полведра, / Чтобы пел я возле ивок / Вплоть до самого утра!»

Много пью вина, а не молока. Только завтрак трезвый.

Франки кажутся игрушечными какими-то деньгами.

Французы ходят по улицам и магазинам, выдыхая винные пары. Но пьяных не видно.

Довольно прохладно. Облетают каштаны, платаны. Хотя всюду много живых цветов.

Ольга Семеновна немного неуклюжая, смешная порой. Приходит на встречи, накинув на плечи поверх шубки, цветастый русский платок. Радует возможности говорить по-русски. Я тоже. В чужом языковом пространстве устаешь. Но и обретаешь что-то. Ольга Семеновна любит посидеть и заказывать раз за разом чайнички свежего чая. Наверное, тут не принято пить чай по-купечески. А мы пьем. Хотя далеко не купцы.

В одном кафе сидим втроем, Ольга Семеновна, я и Адин, молодая еврейка, фотограф с выразительными черными глазами и красноватым от курения носом. Говорим, Ольга Семеновна переводит. У Адин назначена встреча с художницей, бывшей советской, живущей в Иерусалиме.

И художница пришла и, узнав, что я советский, посерела.

Но мы тут же встали. Адин что-то быстро сказала ей. И художница хлопнула уже нам в спины: «О, так вы знаменитый писатель!»

Так и не понял, что это было, что в этом возгласе было, издевательство или удивление. Адин могла толком и не знать ничего про автора из Союза, ей велели меня сфотографировать, и все.

Ну, я-то уже знаю эти французские штучки.

Уи.

В гостях у Катала. Не квартира – музей, много всяких раритетов. Например, одна из первых французских книг, подлинник. Или на стене рисунок Пикассо. Катала пожилая женщина, маленькая, черная, быстрая, цепкая. С ней легко. Главное для нее – русская литература. И современная советская. Здесь уже подлинный интерес чувствуешь. И понимаешь, что этот человек по-настоящему радеет о тебе. Она когда-то жила в СССР, потом оказалась во Франции. У нее контакты со многими авторами, с Астафьевым, Маканиным и так далее.

Люся принимает нас радушно, поит и кормит. С удовольствием поглощая вискач. Здесь еще и американка Нина, директор отдела иностранной литературы, холеная, молодая. После вечера надела на меня свою шляпу, смеется.

Вообще американки никогда не нравились мне. Француженки куда симпатичнее. Но сейчас, я, как товарищ Сухов, сочиняю письмо своей «Катерине Матвеевне», которую зовут тоже Нина. Вот бы нам вместе здесь оказаться. Павел Петрович и говорил еще, когда давал мне деньги на пишущую машинку «Москва», и мы с Ниной ездили за ней в Москву, говорил пророчески: «Погоди, ты еще мир увидишь». Это он Нине говорил. Хм, пока мир смотрю один.

Ван Гог ослепил в музее d'Orsay. Как будто попал на речку Заостренку в радуги. А ведь он писал юг. А я юг никогда не любил. Но вот поди ж ты.

Ольга Семеновна пригласила пожить у нее. И я остался. Билет сдали. Из гостиницы выехал. В издательстве это известие произвело неприятное впечатление. Почему? Что плохого? Или уже боятся, как бы мое пребывание вовсе не затянулось? А это скандал?

Ольга Семеновна обитает на окраине Парижа в квартире на шестом этаже, дом старый, но вполне комфортный. Ольга Семеновна здесь одна, дети, кто где, кто-то в Америке, кто-то в Швейцарии, кажется. О. С. меня потчует, что-то все готовит и говорит, говорит. Взясась обучать меня французскому. Рассказывает о войне, о Париже, про Украину.

Ее угнали в Германию семнадцатилетней, в Кельн, везли в товарном вагоне. Работать заставили на прядильной фабрике, потом домработницей в семье. В одном доме прятался беглый пленный. Она его подкармливала. И в конце концов у нее произошел нервный срыв и она оказалась в психиатрической клинике в Бонне. Поправилась и поступила снова на фабрику. В 45-ом начались бомбежки. Переехали в лесное место в сорока км. В ночь под Новый год убежали в другой городок. В марте туда вошли американцы. И судьба ее, казалось, была решена.

С французами она уехала во Францию. Вокруг Парижа, по ее словам, было много репатриационных советских лагерей. Коменданты были якобы советские. И она перебиралась из лагеря в лагерь. И так попала в Марсель. А оттуда весь лагерь загрузили в поезд и отправили в Союз через Германию. Прибыли в Германию. Друг другу передавали всякие слухи, о сибирских лагерях. Кто знает? Что там? Сталина боялись. А он был силен как никогда. И вот поезд тронулся дальше, а ей и еще несколькими удалось соскочить. И пошли пешком они до Касселя. Там сели в поезд и поехали в Париж с американцами. Здесь ей помогли русские. Устроилась работать в ателье. В доме жили казаки, собирались в подвале, вспоминали битвы и прошлую жизнь. Подруга ее все-таки уехала в Союз, О. С. писала ей, пока не получила записку ее родителей, просивших больше не писать, и все. О. С. училась в русской гимназии, потом поступила в заведение на медицинский факультет, но оставила его, вышла замуж и устроилась в госпиталь поломойкой. И все-таки закончила медицинские курсы и стала анестезиологом. 46 лет во Франции.

В Сумах у нее жила старая мать, и вот О. С. решила забрать ее. И забрала. Старуха прожила месяца два в Париже... Париж – не Сумы, ага. И она затосковала, жестоко закручинилась. И стала проситься обратно. «Мама, – сказала ей дочь, – это НЕВОЗМОЖНО!» Старуха ходила на базарчик, в выходные здесь собираются поблизости фермеры. И она толкалась, пыталась с ними общаться, они ей дарили всякую зелень, укроп там, огурцы, помидоры. Дочь ее отчитывала. Но та в субботу – снова к фермерам и фермершам. Начались у них скандалы. И однажды старуха исчезла. Дочь кинулась искать. Нет нигде. Никто не видел. О. С. до последнего тянула, в полицию не хотела обращаться. И вдруг ее туда и вызвала, в участок. А там мать сидит довольная, пьет с жандармами чай. И заявляет, что подаст на дочь в суд и доберется до посла СССР, но вернется в Сумы. И вернулась.

На вечер О. С. перекрывает отопление, экономит. Ложится в соседней комнате в вязаной шапочке и в перчатках с обрезанными пальцами, читает – сейчас мои «Recitsafghans» – и слушает радиоприемник, Москву и Киев.

За утренним чаем говорит мне со слезами в синих глазах, что читала «Колокольню» и плакала.

Утром выходишь – на автомобилях иней. Парижане все равно ходят в пиджаках и плащиках, ну, заматывают шарфы длинные. В метро впереди идущая девушка забрасывала конец шарфа за плечо и накрыла мне лицо. Ее подружка увидела, захихикала. Я галантно молвил: «Мерси». И надо было видеть, как вспыхнули глаза этих девушек, как они развеселились. Понравился, решил я. Впрочем, тут же подумал о произношении.

Вообще к советским отношение на волне перестройки очень хорошее. Нам с О. С. в ее цветастом платке посылали воздушные поцелуи, одна женщина крикнула по-русски с акцентом: «Я тиебядублу!»

Здорово, конечно, но я решился и попросил О. С. не надевать этот платок. Она растерялась.

– Почему?

– Не хочется чувствовать себя таитянином, – брякнул я первое пришедшее на ум.

– Каким еще...

– Ну, вообще чем меньше тебя замечают, тем лучше. Хочется самому замечать все, набираться впечатлений.

О. С. расстроилась. Но платок сняла. И вот мы завернули с ней в какой-то большой магазин возле Лувра. Пришли в отдел парфюмерии, погрузились по самую макушку в эти хваленые и действительно великолепные ароматы. А к нам вышла молодая рыжая женщина с блеском в глазах, продавщица. И сразу: «Вы из Москвы?» Хотя мы пребывали в почтительном молчании, вдыхали амбре. Да. Уи. «Ну, как там?» Смотрит жадно, молодая, ухоженная. Я немного посторонился, пропуская вперед О. С. и предоставляя ей возможность поговорить.

Где-то там, возле этого магазина, на людной площади у меня и увели новенькое кожаное портмоне со всеми деньгами.

Вот черт. Хотя и не особенно жалко. Я решил заключить договор на следующий роман с издательством «Галлимар». У меня уже было письмо из этого издательства. В Париж я приехал с пухлой рукописью романа. Семен Мирский, работающий на «Свободе», проводил меня в издательство. Там меня встретили ласково. Рукопись я отдал.

Вчера был в гостях у переводчицы, маленькой черноглазой одинокой молодой женщины, живущей в однокомнатной квартирке на седьмом этаже. Это так называемая студия, и кухня и зал и спальня все вместе, без перегородок. Во всю длину стены – окно, лоджия. Переводчица как-то ловко успела подушиться, снимая пальто. Мою куртку разрешила бросить на постель. Повернулась ко мне, уже благоухая.

Мы расположились за низким столиком. Переводчица сварила кофе. Заговорили о литературе. Переводчица буквально благоговеет перед русской литературой. Над плоскими крышами маячит Эйфелева башня. Речь вдруг зашла о море, которого я никогда не видел. А у ее отца яхта, она показала фото. Посоветовала мне отправиться в Дьепп. Выкурили по сигарете, и я засобирался, взял куртку с вешалки. Распрощались.

«А если не примут рукопись?» – волнуется О. С.

Билет у меня куплен. Но еще надо как-то провести оставшиеся дни, полторы недели.

А вот теперь уже можно в полной мере почувствовать себя бродягой. И я слоняюсь по набережной Сены. Сухо, тепло. Солнце. Деревья голые и в листе. Красные розы. Как будто ты на другой планете. Иду в NotreDamedeParis, вход туда бесплатный. Уи, колоссально. Витражи, арки. Правда, туристов проклятых много.

А я-то уже и не турист. Заживу под мостом. Смотрю, бродяги там обретаются. И даже вечером жгут костерки. В центре Парижа? Но вот идут полицейские и всех разгоняют. На меня тоже подозрительно смотрят. Я сижу и курю над водой последнюю сигарету. Нет, но выгляжу-то я еще прилично. Проходят мимо.

Где-то блуждаю уже поздним вечером. Париж хорош, если у тебя портмоне туго набито. А так город сразу становится отчужденным. Встречаю какого-то мужика в неопрятном светлом плаще, шляпе, заросшего. Он начинает что-то говорить, хрен поймешь. Кажется, просит денег. Я смеюсь. Он тоже начинает смеяться. Так мы и расходимся. По-моему, прекрасно поняли друг друга. Международный союз бичей.

Добираюсь уже ночью до дома О. С. Она не спит, встречает меня с улыбкой и сразу сообщает: «Рукопись принята! Завтра вас ждут! Звонили».

Ого, молниеносное чтение. И – я спасен. Но почему-то и был уверен в этом. Правда, радость омрачает то, что и в «Альбен Мишель» забросил рукопись. Но они посулили ответ только через месяц. Что ж, придется объясняться.

Еду в издательство, получаю аванс. И снова ненасытно брожу. Изматывающий бег по Лувру. На следующий день – музей Пикассо.

Поднимаюсь на Монмартр. В соборе можно сидеть. Сажу, слушаю службу. Колоритен черный священник. В службе какое-то холодное отстраненное величие. Кажется, заболеваю. Чувствую себя очень скверно.

Ночью бросает то в жар, то в холод, температура подскочила, в бреду мне видится пространство, наполненное словами, надо все слова исчерпать. И я делаю это, вот просто зачерпываю ладонями вороха слов, зачерпываю, – и когда все слова закончились, я уснул в пустоте. Очнулся абсолютно здоровым.

О. С. с тревогой заглядывает ко мне в пижаме, шапочке.

– Здоров! – сообщаю ей.

И она улыбается, идет ставить чайник на газ, жарить яичницу.

Париж уже начинает готовиться к Рождеству. Появляются украшения, вата, всякие гномы, олени. А снега-то нет и в помине. Нет снега! Елисейские поля роскошны, магазины сверкают, скульптуры модернистские, а снега нет.

Ночью приснился колокольнинский дом, который вдруг распахнулся в море – зеленое, холодное, солнечное; и куда-то медленно уходил пароход. И я услышал как бы возглас: «Зимы не будет!»

На следующий день в парижском метро, зайдя в вагон, я вижу Олега Янковского в длинном толстом пальто темно-кремового цвета, с какой-то дамой. И сразу думаю о «Ностальгии», конечно. Янковский в Париже играет в каком-то французском спектакле.

Поднимаюсь по улочкам на гигантскую гору Монмартр с кафе, магазинами, с белым собором. Оттуда виден весь Париж. Толпятся туристы, слышна многоязычная речь. Закат огненный. Париж – алый цветок каменный, гигантская чаша загорающихся уже огней. Но еще сильнее свет заката. Свет галльский, рыцарский. Свет трубадуров, Жанны д'Арк, проклятых поэтов, живописцев.

И моего слуха касается музыка, да, кто-то играет на аккордеоне, вон сидит прямо на ступеньках мужик в серой кепке. Исполняет он полонез Огинского. На его крупном носу очки. И он поразительно похож на Павла Петровича, проходившего военную подготовку перед войной в Польше и даже изучавшего польский язык. Это мгновенно приходит мне на ум.

Кладя бумажку в коробку музыканта, я говорю по-русски: «Спасибо». Он кивает.

Спускаюсь с Монмартра и чувствую, как устал за все это время. Почти месяц я здесь. Вообще не думал, что придется так много бывать, что называется, на людях, давать интервью, ездить в редакции, фотографироваться. Для лесника-анахорета, – а по сути, я им и остался, – это чрезмерно. Хотя в гостях у Ольги Семеновны я уже избавлен от всей этой суеты. И тем не менее.

«Зимы не будет?» – это похоже на угрозу. Я представляю заваленный снегом колокольнинский дом с кошками, пылающими печами, с самоваром, пытящим дымом прямо в печь в железную изогнутую трубу. Да, да, медведи, баранки, водка, самовар и трескучая мощная зима с лесами, как храмами. Да будет зима и ее свет, Архипушка, эй! Лечу-у...

СЕНТЯБРЬСКОЕ УТРО В ЧЕРНОМ ЛЕСУ

Проснулся в тишине: ничего не стучало, не шелестело, не текло с хлопьями, ничего не скрипело, - было просто тихо. Всюду стояла тишина. Мир безмолвствовал. Неужели нет дождя?..

И внезапно раздался гулкий удар – где-то рухнуло дерево. Так началось это утро.

ПОХОД ЗА МУЗЫКОЙ

Да, некоторые события уже в настоящем похожи на сновидение. Это свидетельствует об особенной атмосфере происходящего. Сон – событие духовного порядка. Что же может перевести обыденность в этот регистр? «Музыка!» – с жаром кричит неофит.

Задумал какую-то вещь о музыканте. И вдруг понял, что абсолютно дик: не знаю классической музыки. Попросил у своей учительницы географии Елены Даниловны Погуляевой магнитофон и кассеты. Дома слушать можно вполуха, чтобы не накликать ответного удара: Газманова, Киркорова и всей гоп-стоп-компании. Отец, решивший зимовать в своем доме в Барщевщине, попросил пожить недельку, потопить печь, покормить пса, пока он съездит в одно место. А мне только этого и надо. С магнитофоном, записями всей моей семьей мы отправились в Барщевщину. Но прогадали, автобус не шел до конца, повернул на поодороге. Что ж делать? Утро было раннее, черно-морозное, звездное. И мы пошли пешком, как цыгане со своим скарбом. У дочки щеки розовели, глаза блестели, она любит такие приключения. Шли мы по трассе среди выстуженных полей и холмов. Оляха и орешники чернеют лишь в ложбинах. Пейзаж почти степной.

А на востоке розово-красная заря, навевающая почему-то какие-то помыслы об Индии.

Справа, на юге – серп луны.

Машины редко пролетают мимо. Шоферы, наверное, удивляются, куда это мы бредем, зачем в такую рань поднялись в субботу. За музыкой.

Какой живописец изобразил бы этот поход? Чюрленис или Пирсма-ни. А может, Рерих. Нет, лучше всего Чюрленис и подходит. Живопись его мне нравится. А вот музыки Чюрлениса я не слышал. Но все дружно утверждают, что живопись его и есть музыка.

Итак, рыжая учительница, темно-рыжая девочка и смуглый местный литератор шли сквозь мороз и ночь. То есть утро. Да, пока мы шли, шли, да на холм взошли, свернув на проселочную дорогу, солнце и встало: спелое, желтое, яркое. Вот это был миг! Все мои предки, жившие по этим восточным холмам рядом со Смоленском, вдруг бросились мне в лицо с ослепительным сиянием, лучами, крестьяне, пахавшие эту землю, бывшие в лесах зверя, ловившие в Днепре рыбу, воевавшие, пившие, певшие, – а баба Варя и сейчас сидит в Барщевщине и поет, лучшая деревенская певунья, играет голосом: то ярче, то тише, как будто отблески печного пламени.

По белой дороге дошагали мы до деревни и вступили в нее через арку двух старых тополей.

Черный пес Индус встретил нас в доме. Я затопил печь, Нина приготовила завтрак, в городе мы не ели совсем, были голодны и живо приступили к делу, давай уплетать вареные яйца, сало, черный хлеб. А тут и закоптелый чайник задрезбезжал крышкой. Заварили чай, разлили по чашкам. Пес доволен: никого, никого – и вдруг столько людей и среди них девочка с рыжими толстыми косами, можно схватить ее за руку, поддержать в пасти и выпустить, млеть, когда она чешет холку.

Печь медленно нагревала дом. Можно было сидеть перед печным зевом, глядеть в огонь. И слушать Чайковского. Потом Моцарта. Бетховена. На полную громкость. «Поэму огня» Скрябина. Но как естественна

эта музыка в деревенском доме! Ведь никогда ее здесь не слушали. Если только по радио, в день очередного траура по генсеку или еще какому-нибудь партийному деятелю. Вот это да! Прямо здесь происходила какая-то архитектурная деятельность: вырастали колонны, купола, стены, распаивались залы. Ударяли фонтаны, какие-то люди поднимались по ступеням. Вдаль уходили каналы. Прямо здесь, в хате бабы Веры и Петра возникал некий центр, да, центр всего мира. Столица и была в Барщевщине, а не в Москве или Мадриде, не в Париже и не в Лондоне.

Вечером мы вышли посмотреть на закат: алый и зеленовато-бирюзовый, с темными космами за долиной с кладбищем и древнеславянским городищем. Черный Индус смотреть не желал, бегал по саду, принюхивался, не доносит ли ветер вражий запах. Индус – немец, но довольно крупный и черной масти, что бывает редко. Отец увез его на север щенком, и вот уже это громадный пес. Бегаёт, вздыбливает холку. Он совершенно ничего и никого не боится. Как, в общем, и его северный хозяин. И зыркает по сторонам. Ну, кто? где? Давайте, давайте, только посмейте приблизиться к девочке с рыжими косами. Он, наверное, был бы только рад.

Но враги идут где-то мимо, прячась по оврагам, исподтишка поглядывая в сторону владений Индуса и поджигая хвосты.

Я бросаю спущенный мяч в снег, Индус тут же его находит и начинает терзать с рычанием, в считанные секунды от мяча остаются одни ошметки.

И ночь приходит такая же черная, как Индус. А мы допоздна слушаем музыку и ужинаем уже по-деревенски картошкой, подрумянившейся от печного жара в чугушке, запеченной свеклой с чесноком и маслом под жиги и фуги Баха и гудение печной трубы. К ночи поднялся ветер.

Из музыкальной избы вышел на улицу: мороз, скрип, чернота, вверху над тополями сказочно крупный ясный Ковш. И атмосфера гудит как океан, летят клочья облаков. И уже сам сад, заснеженный дом тоже летят сквозь эту музыку мироздания, размахивая голыми ветками яблонь и тополей, пыхтя трубой, дзынькая стеклами небольших окон.

О Чюрленис! Мне кажется, у него есть, должна быть такая картина.

Три дня быстро пролетают, и мы с Индусом провожаем жену и дочку сквозь мягкую пургу до остановки, одной надо учить, другой учиться. Индус поскуливает, глядя на автобус, уплывающий в снег. Чью руку он теперь схватит и сожмет? И кто ему поиграет на парижской флейте?

Да, на самом деле, настоящая музыка уже была у нас. Настя исполняет пьесы различных композиторов. Но, конечно, надо знать, как звучит симфония. И я это услышал той ветреной ночью. Симфония – как океан, наполненный огнями. А фортепьянная музыка – это музыка одиночества. Одиночество говорит на разные лады. Это я уже узнал позже, сидя в заснеженном доме еще неделю.

Но как я был слеп, дик, глух без Бетховена, его пятой симфонии, что проходит сквозь сознание сияющей кометой и вызывая возмущение атмосферы личности. Да, именно так: музыка возмущает нас, приводит силы в движение.

А вкрадчивый час, нет, минуты декабрьских сумерек, бледный, синий, чарующий свет, отраженный старым зеркалом шкафа у окна, и плоскость стола с фарфоровым чайником, чашкой, свет, исходящий из глубины вечернего сада, стекающий с холмов, на одном из которых четко вырисовывается главка церкви Св. Духа во Фленове, выстроенной княгиней Тенишевой и расписанной Рерихом, – эти минуты сплетаются с демоническим скользким напевом скрипок «Экстаза» Скрябина, думаю, что – навсегда.

И весь этот поход за музыкой уже кажется мне сном. Или готовым рассказом. Павел Флоренский, кстати, говорил следующее: «Ибо искусство есть оплотневшее сновидение». А для меня зимняя неделя – оплотневшая музыка.

ПРОБУЖДЕНИЕ В ГОРАХ МЕКСИКИ

Ларс Густафссон, швед, «Смерть пчеловода». Необычное вступление: рассказчик просыпается в мексиканских горах и тут же прощается с читателями, – дальше история пчеловода, больного раком. Любопытный ход. Пчеловод живет и умирает в Швеции. Но действительно ли умирает? Почему нам кажется, что рассказчик в горах – это герой, хотя после его смерти минуло девять лет? Зачем вообще рассказчик вступает в поток повествования? Чтобы отделиться от героя, дать его голос без искажений?

Есть во всем этом что-то тревожащее, ускользающее, пленительное. Интуиция подсказывает, что умерший вдруг очнулся в горах Мексики. Но разве это возможно?

Нет. Но скорее всего так и есть.

Вообще пчеловод, любой, не романский, не только швед, но и какой-нибудь рязанец фигура странноватая. Пчеловоды вытворяют чудеса со своими пчелами. Труд их довольно загадочен. Ведь и сами пчелы изумляют иерархическими отношениями. Мед не только целебен, но и способен консервировать время, останавливать его. Тело Македонского погрузили в мед, чтобы предотвратить его разрушение.

Пчела – метафора души.

И – почему бы ей вдруг не открыть глаз в горах Мексики? Кстати, закрываются ли вообще глаза у пчелы?

Ненароком вспомнил, как в девятом классе чуть было не отправился в Туманово, село в Гагаринском районе, учиться на пчеловода. Мечтал жить на пасеке где-нибудь на Алтае. Алтайские горы не хуже мексиканских, наверное. Впрочем, на Алтае мне довелось и так побывать, вдвоем с Ниной поехали в заповедник на Телецком озере, работали лесниками, жили на кордоне Чодро. Стены гор обрываются в озеро. А кордон располагался на речке в каньоне, из окна дома можно было видеть водопад. В горах бродили медведи и маралы. Оттуда мы привезли эдельвейс. До сих пор цветок цел, лежит в конверте крошечной мумией.

А в Мексику... в Мексику я обещал совершить паломничество. Обещание было дано Хуану Диего, святому ацтеку Куаухтлатоатцину. Почему именно ему? И с чем это связано? Все просто и вместе с тем сложно. Тут в силу вступают какие-то ассоциации. Я им подвержен. Хуан – это ведь Иван. После написания романа «Иван-чай-сутра» я отчаянно нуждался в деньгах. И вот пообещал почему-то – тут уже не вспомнить всех подробностей – ацтеку Ивану Диего, узревшему когда-то в давние-давние времена Деву Марию на горе, пообещал совершить паломничество в случае удачи с романом. И роман получил премию – журнала «Нева», где и был опубликован. Только денег эта премия не предполагает, одну медаль, Впрочем, довольно живописную и со вкусом сделанную. Не знаю, из какого металла она отлита, но точно не драгоценного. Дорога в Мехико явно дороже. А «Иван-чай-сутра» так и осталась журнальной публикацией, не обернувшейся даже книгой.

Не знаю, смогу ли когда-нибудь проснуться в горах Мексики. Но вот разве не произошло что-то похожее при чтении романа Ларса Густафссона?

...ИЛИ В ГОРАХ ЮЖНОЙ АЗИИ

Зато в снах можно совершать трансокеанические и всякие прочие долгие перелеты без виз и проклятых денег. И этой ночью я залетел довольно далеко, куда-то в Южную Азию, приблизился к двум зеленым горам-вратам. За ними, за этими шапками из мягкой зелени растиался какой-то удивительный ландшафт. Но некая сила вытолкнула меня из врат-гор. Я еще раз попытался туда проникнуть. И это мне удалось. Подлетел к горным склонам с пещерами и одиночными деревьями. В пещерах явно кто-то обитал. Перед склонами высилось какое-то каменное изваяние. К нему я и подлетел и взял и приложил ладонь. И вдруг услышал голос тестя Пав-

ла Петровича Петрова, учителя русского языка и литературы. Он призвал меня молиться, а не пьянствовать. Но это была только «Изабелла», хотел я возразить, да проснулся: никаких гор, склонов, изваяний. Белый потолок, дурацкая люстра, голоса соседей. Павел Петрович давно умер. Хотел бы я снова услышать его голос, вступить с ним в беседу.

Впрочем, беседа, как видно, и не прекращается.

НА СЕВЕРЕ

С утра мы заметили, что холмы придвинулись к Заостренке, небольшой речке за Полярным кругом. На север мы прилетели к моему отцу вдвоем с Мишкой. Отец круто поменял жизнь опера и майора МВД, уехал на север в сорок лет, устроился кочегаром и вот уже начальствует на базе геопартии в Адзьявове, что на берегу Усы. В тех местах тайга, а мы хотели, наконец, увидеть тундру. Развернули карту в балке отца и выбрали эту речку Заостренку, до устья нас подкинул на моторке коми Вася Канев. И мы двинулись сначала по профилям – просекам лесостроителей, миновали место бывшей буровой, с громадными цистернами, всяким хламом, брошенными вагончиками – в один заглянули и сразу узрели вырезку из «Огонька» с красавицами. Потом вышли к речке, и пошли прямо по ней в своих болотных сапогах с ботфортами. Речка мелкая, а глубины можно обойти по берегу.

И вот холмы начинают сжимать Заостренку. Еще пару часов шуршания галькой и хлюпанья водой – и мы видим первые скалы. Маленькие, серые, обросшие мхом и елками, брусничниками и березками каменные алы холмов. Радует. Это детская радость жителей равнин.

... Но мы не знали, какие скалы ждут впереди!

Сидим на высоте. Совсем рядом небо и солнце. Под нами солнечная долина Заостренки. Сверху заросли речных лопухов похожи на зеленую корку; под этой коркой течет речка и кое-где вырывается наружу и кажется, что это озера, много мелких, синих озер.

Небо на севере какое-то особенное, очень обширное и низкое. Север – небесная страна. Никогда не хотелось жить на юге, на севере – всегда, с детства, с первых северных книг – Кервуда, Лондона. А потом пришли книги Анатолия Онегова, Рокуэлла Кента, Фарли Моуэта и наконец Олега Куваева, его «Территория». И эта «Территория» – в тундре. К ней мы сейчас и поднимаемся.

– А похоже на какую-то Боливию, – говорит Мишка.

– А мы конкистадоры.

Сам Мишка больше похож на воина из отряда Батыя. Его отец выходец откуда-то из южноуральских степей, где когда-то кочевала-бытовала Ногайская Орда.

Холмы со скалами так понравились нам, что дальше мы решили по ним и шагать. Гряда холмов тянется вдоль реки.

И вскоре мы попали в царство грибное. Среди березок стоят крепкие оранжевые подосиновики, смуглые подберезовики, подсвеченные северным низким солнцем. Мы выхватили ножики! И кинулись в бой. Такого грибного изобилия никогда никто из нас нигде не видел. И не увидит. Набили пакеты грибами помоложе, покрепче. Вечером спустились к речке, развели под внушительным серым мшистым утесом костер и варим, жарим свою добычу.

Эх, жаль, нет фотоаппарата. Я когда-то фотографией занимался, но как утопил в Байкале «Зоркий», так и забросил это дело.

– Кто нам поверит? – поддерживает меня Мишка, утирая потное жаркое от костра лицо.

Вышли, вот она – Тундра. Истоки Заостренки где-то рядом. Наша палатка стоит на кругом голом берегу. И вокруг – Тундра. Мы в центре мощного простора. Рыже-зеленые увалы, сизые распадки, низкое небо в

серых тучах, тишина и ветер. Никого вокруг, кроме нас, двоих смолян, пришельцев. Ну, медведи, конечно, где-то поблизости бродят, следы то и дело нам попадаются. И олени.

Дым костра горек, горят сушины прибрежных ивков.

Весь день дождь. То мелко сыплет, то падает крупными каплями косями лучами. Мы измотались и вымокли, продираясь по тундре, заросшей коми-дубом, как здесь шутливо называют карликовую березку, и проклиная решение оставить речку и пройти по тундре. Дождливая глухая тундра! О-о-о! Ээй?! Эййй!

Нигде никого.

Пробились к речке, еще вверх поднялись в прозрачных водах, нашли продуваемый мысок, распалили костер, вскипятили чаю, сварили суп, отужинали и теперь бездельничаем у огня. И уже тоскливая тундра не так тослива. Тишина стоит абсолютная. Апофеоз тишины. Безлюдье и сумрачная красота.

– Ну, как тебе куваевщина? – спрашиваю Мишку.

Блаженная улыбка сгибает луками южноуральские черты лица Мишки.

– В кайф!

Я достаю сигарету, московскую «Яву», прикуриваю от веточки.

– А это еще и не «Территория», – говорит Мишка.

– Почему?

– Ну, там же народ не балду бил, как мы, а трудился, искал золото.

– Мы тоже ищем, – отвечаю, затягиваясь и пуская дым.

Мишка смеется.

– Чего ты? – спрашиваю.

Он говорит, что вспомнил один эпизод. В пионерском лагере одного чувака все донимали, ну, так, издевались слегка. И однажды он не выдержал и крикнул: «Джека Лондона тоже не понимали сначала!» Отряд грохнул.

Мишка не верит, что мне удастся выбиться из молодежной газеты в писатели. Сам он работает в Гидрометцентре гидрологом и учиться на геофаке в пединституте. А мечтает о свершениях на поприще путешествий. О лаврах Тура Хейердала помышляет.

Мы друг друга подкальваем.

Да, ненароком вспомнил редакцию, суету, кабинеты, комсомольские конференции. Все-таки как это попал я в самое логово комсомолии? Ведь на Байкале в заповеднике из комсомола вышел, сдал билет, послал всех к черту. И вот – на тебе. Слаб человек.

– Чего вздыхаешь? – спрашивает Мишка.

– По утраченной воле.

– Так вот она, – отвечает и широким жестом дарит мне, как истый потомок Ногайской Орды, простор тундры над речкой Зостренкой. Тут она скорее ручей уже.

С запада ползут и ползут тучи.

В сумерках – настоящей темноты еще нет, еще все в свете вечного полярного дня – Мишка уже забрался в палатку. А я еще посидел, выкуривая последнюю сигарету у гаснущего костра. И увидел вдруг, как над сопкой, на краю черных косматых туч зажглась тихим синим пламенем звезда, как будто кто-то осветил в ответ нашему красному костерку.

Все-таки человек везде ищет отклика.

Утро опять серое. Дует холодный сильный западный ветер. Пока умывались в речке, лица и руки так замерзли, что пришлось отогреваться у костра. Постановляем, что достигли цели – истока Заостренки. Ну, в самом деле, речка уже превратилась в узенький ручеек. Поворачиваем назад.

Снова решаем спрямить и отважно шагаем по тундре, орем бластную песенку: «А паа тундре, паа широкой равнине!! Там, где мчится курьерский «Воркута-Ленинград!» Мы с тобою бежали, опасаясь погони!! Опасаясь погони!! И криков солдат!!»

Нам еще весело. И мы продолжаем: «Дождик капал на рыло! И на ручку нагана! Там вдали есть спасенье – золотая тайга!»

И действительно, далеко впереди высились скалы с елками. К ним мы и шагали, проваливаясь сквозь пружинистую сеть переплетенных ветвей карликовой березки, лежащую на мягких кочках, выдирая с проклятьями ноги, утирая потные лица. «Тут только лосям и ходить! Но даже они не такие дурни!» – кричим мы друг другу.

И вот, вот, наконец, наконец-то – вот тайга. Мы входим под чертоги таежные, как в родной дом. Мы славим тайгу с пожелтевшими берегами, с альми кляксами на скалах, с ее травами и поздними цветами. Радости нашей нет предела.

К вечеру мы дошли до прежней стоянки у огромного утеса, поставили второпях палатку, развели огонь, вскипятили чая и каждый занялся своим делом. Мишке взбрело в голову дальнейший путь пройти на плоту, пусть, мол, нас Заостренка отвезет к Усе. И он вооружился топориком и пошел тюкать. Ну, а я со спиннингом отправился по речке. Оглянулся и «сфотографировал» утес, зеленые елки, по зелени вьется сизый дымок, на скале жгуче красные пятна брусничника, золотые пятаки березок.

На рыбалку я отправился не только из-за любви к этому искусству, но и по простой причине: поход наш получился длиннее запланированного, продукты заканчиваются.

Со спиннингом я уже пытал удачу, но какая-то рыба в Заостренке слишком задумчивая. Подводишь блесну к самому ее носу, а она лишь пошевеливает плавниками в чистой воде, смотрит и не реагирует.

Надо наблюдать, вспоминаю старые индейские мудрости. Наблюдаю и вижу: хариус ловит каких-то мотыльков. Тут же несколько мотыльков у меня в спичечном коробке. Заброс. И сразу – хоп! Есть. Схватил жадно, дернул поплавок, а я резко потянул, хариус бросился в сторону, я чуть отпустил и снова потянул и уже не давал послабления, выволок на галечную отмель. Хариус заплясал на камнях. Руки трясутся, когда закуриваю. Капелька рыбьей крови расплывается по сигарете. Комары грызут мою шею, а мне некогда их пробить, рыбалка в разгаре. Рыбачу и краем глаз вижу, как прекрасны потемневшие от дождя скалы с желтыми березами. Еще поклевка. Хариус вспрыгивает над водой.

Но вот ниже по течению кто-то вспугивает уток, они летят, со свистом разрезая воздух, прямо на меня, резко сворачивают. Кто их спугнул? Скорее всего – медведь. Нас предупреждали, что здесь их вотчина. Да и сами видели всюду следы и кучи. Так что лучше закончить рыбалку. На уху рыба есть. Да и замерз я порядочно. Это на Смоленщине лето продолжается, август – самый смак. А здесь ветер ледяное дыхание уже Карского моря доносит.

Показываю кукан с рыбой Мишке издалека. Тот радостно отплясывает на своем «Кон-Тики». От рыбин в горячей воде расходятся радужные круги жира.

Плотик чуть прошел и застрял. Бросили его. Да это и сразу было ясно: не проползет, мелко. Конкистадоры сели на мель. А молчаливые индейцы следят отовсюду за ними.

Холодина. Утром изо рта идет пар. Скорее разводить костер, заваривать чай. Соль закончилась. И мы варим пресные грибы. Есть такие не очень-то хочется. Тучи гуляют по небу. То и дело идут ледяные дожди, и над Заостренкой встают радуги. А это удивительно, по нескольку

радуг над речкой. Недаром же Геродот на севере мыслил Гиперборею. И епископ писал в средние века о поморах, увидевших райский свет и бросившихся туда, за увал.

Мы пялились на этого северного павлина: в разрывах черных туч безумно синее бирюзовое небо, сочно зеленые макушки елей, золото берез, кровь брусничников, сизая чистая вода Заостренки и ясные резкие радуги.

Сквозь них мы и вышли на Усу, крупную реку, одарившую нас простором, два часа жгли костер, дожидаясь моторки. Моторок было даже две, пришли посланные отцом-воеводой ребята, с матерными прибаутками покопались в моторах и помчали нас по речному накату к пирогам горой, пельменям, водке в Адзьвавоме.

Оттуда перебрались в Инту и, обнявшись с отцом и его женой, пошли в самолет, нагруженные сушеной рыбой, оленьими шкурами и рогами, обмотанными по требованию Аэрофлота бинтами, и вскоре увидели то, чего не могли никак разглядеть со скал и сопкок гряды Чернышева – Урал.

Урал был весь сверху донизу усыпан снегами, блестящими под солнцем в синем небе. Как будто мы шли, шли, шаманили-мечтали, мерзли, путались в зарослях тундры и, наконец, достигли главной цели, вцепившись в крыла железной птицы. Увидели то, чего не видел и Геродот, то, о чем писал со слов поморов епископ. И этот уральский свет уже навсегда с нами. Спасибо, отец.